

ЛИНА КЛЕХ

КИНЖАЛ
ДЛЯ ВЛАДЫКИ

Песок и золото

18+

Лина Клех

**Кинжал Для Владыки:
Песок и золото**

«Автор»

2026

Клех Л.

Кинжал Для Владыки: Песок и золото / Л. Клех — «Автор»,
2026

Её продали как рабыню. Он — владыка Двух Земель, воин с золотыми глазами и телом, исписанным шрамами. Он ждал покорности — получил осколок стекла у горла. Она пришла его убить — но однажды вытащит его из огня. Между ними война, цепи и кровь. А впереди — заговор, предательство и битва, из которой мало кто вернётся живым. Он купил её. Она пришла его убить. Ни один из них не готов был влюбиться. ВАС ЖДЕТ: Древний Египет без пыли учебников Властный герой с изломанным прошлым Героиня, которая не молчит и не плачет От ненависти до любви Осторожно: сцены насилия, рабства и откровенные сцены. 18+

© Клех Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Тот, кто считает шрамы	5
ГЛАВА 1. Дым над стойбищем	7
ГЛАВА 2. Дорога рабов	11
ГЛАВА 3. Город из белого камня	16
ГЛАВА 4. Лев	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Ли́на Кле́х

Кинжал Для Владыки: Песок и золото

ПРОЛОГ. Тот, кто считает шрамы

Двадцать три года назад

Мальчику было девять, и он умел считать до сорока.

Он научился этому не у писцов. Писцы учили его иероглифам, звёздам и именам богов, и он послушно повторял за ними, водя тростниковой палочкой по глиняной табличке. Но считать по-настоящему он научился здесь — в комнате без окон, в самом низу дворца, где стены были такими толстыми, что крик умирал, не дойдя до потолка.

Отец всегда начинал одинаково.

— Считай вслух, — говорил он и снимал с крюка плетъ из бычьей кожи. Спокойно. Так снимают с полки чашу для вина.

И мальчик считал.

Один. Два. Три.

На двенадцатом ударе он обычно переставал чувствовать спину. На двадцатом — начал видеть перед глазами белые вспышки, похожие на солнце над рекой. На тридцатом голос срывался, и тогда отец останавливался, ждал, пока сын откашляется, и говорил:

— Сначала. Ты сбился.

Мальчик знал: считать нужно ровно. Не всхлипывать. Не глотать цифры. Тот, кто сбивается, слаб, а слабость в этом доме — единственный грех, за который нет прощения.

Сегодня было сорок.

Сорок — потому что утром он опустил глаза перед послем из Куша. Всего на миг. Просто моргнул, потому что солнце било в лицо. Но отец увидел.

— Владыка Двух Земель, — сказал он, наматывая плетъ на кулак, — не отводит взгляд. Никогда. Ни перед послем, ни перед богом, ни перед смертью. Ты понял меня?

— Понял, — сказал мальчик.

— Не слышу.

— Я понял, отец.

Сорок один.

...

Он лежал на каменном полу, пока за дверью не стихли шаги. Потом медленно, очень медленно перевернулся на бок. Кровь на спине уже начинала запекаться и тянула кожу, как высохшая глина.

В коридоре мелькнула тень. Мать.

Она остановилась в дверном проёме — красивая, безупречная, в белом плиссированном льне, с золотом на шее. От неё пахло лotosовым маслом. Она посмотрела на сына, лежащего в собственной крови на полу собственного дома.

Мальчик поднял на неё глаза. Не попросил. Ни разу в жизни не попросил — просто посмотрел.

Мать поправила складку на платье.

— Не пачкай пол, — сказала она. — Рабыням потом отмывать.

И ушла.

Он слушал, как затихает лёгкий стук её сандалий по камню, и в этот момент внутри у него что-то тихо, без единого звука, треснуло и осыпалось — как осыпается штукатурка со старой стены.

Он не заплакал. Он вообще больше никогда не плакал — ни разу за следующие двадцать три года.

Он просто начал считать заново.

Только теперь — не удары.

Имена.

Отец. Мать. Начальник стражи, который держал его за плечи, чтобы не дёргался. Жрец, который сказал: «Мальчик рождён с глазами демона, его надо выбивать из тела». Двое надсмотрщиков, что смеялись за дверью. Дядя, который всё знал — и молчал двенадцать лет.

Семь имён.

Мальчик лежал в темноте, шевелил разбитыми губами и повторял их одно за другим, как молитву, пока не выучил наизусть так, что мог бы произнести во сне, в бреду, под пыткой.

Он не знал, сколько ему понадобится лет. Он знал только, что ему понадобится **всё**.

...

Много позже, когда он уже станет владыкой Двух Земель, и его назовут Львом Юга, и полмира будет падать ниц при звуке его имени, один-единственный человек — тот, что мальчишкой вытащил его тогда из этой комнаты и три дня прятал у себя, — спросит:

— Ты когда-нибудь спишь спокойно?

И он ответит правду:

— Я досчитал до семи, Небамон. Спокойно спать не помогает.

Больше об этом не заговорит никто и никогда.

Двадцать три года эту тайну будут знать двое.

А потом появится она — рыжая, светлая, с песком в волосах и ненавистью в глазах — и станет третьей.

И вот тогда всё начнёт рушиться по-настоящему.

Он думал, что худшее с ним уже случилось.

Он ошибался.

Худшее — это когда тебе наконец есть что терять.

ГЛАВА 1. Дым над стойбищем

Айша проснулась оттого, что кобыла заржала.

Не от голода — она знала все голоса Сехмет, знала её сытое фыркание, её сонный вздох, её злобный визг, когда кто-то чужой подходил слишком близко к загону. Это ржание было другим. Коротким, заданным вверх, как крик.

Так лошади кричат, когда чувствуют дым.

Айша откинула шкуру и села на постели. За стеной шатра было ещё темно — та густая, синяя темнота, что стоит перед самым рассветом, когда пустыня выдыхает накопленный за ночь холод. Пахло остывшей золой, овечьей шерстью и полынью.

Дымом не пахло.

— Дура, — сказала она себе и легла обратно.

И тут же снова села.

Потому что старая Хебет всегда говорила: лошадь чует беду за половину дня пути. А человек — только когда беда уже стоит у него за спиной и дышит в затылок.

Она вышла из шатра босиком, накинув на плечи отцовский плащ из верблюжьей шерсти, — он был ей велик, полы волочились по песку.

Стойбище спало. Двадцать восемь шатров, полукругом, как всегда, спинами к северному ветру. Тлеющие угли в кострищах. Собака подняла голову, узнала её, стукнула хвостом по земле и снова уронила морду на лапы.

Сехмет стояла у самой изгороди, вытянув шею на север, и уши у неё были прижаты так плотно, что их почти не было видно.

— Ну? — Айша положила ладонь на бархатную морду. — Что там?

Кобыла всхрапнула и мотнула головой.

Айша посмотрела на север.

Ничего. Тёмная линия дюн, над ней — ещё не остывшие звёзды. Далёкое, глухое, ровное молчание пустыни.

И всё-таки что-то было не так, и она поняла что: **тишина была слишком полной**. Не пели ночные птицы у колодца. Не таяли лисы в вади. Пустыня замолчала — так замолкает базар, когда через толпу идут копейщики.

— Айша!

Она вздрогнула.

Отец стоял у своего шатра — босой, растрёпанный со сна, с седой бородой, заплетённой на ночь в короткую косицу. Вождь Тарук, которого в семи родах называли Старым Волком, а за глаза — Упрямым Ослом.

— Ты почему не спишь?

— Сехмет беспокоится.

— Кобыла беспокоится, потому что у неё через месяц жеребёнок, а ты беспокоишься, потому что у тебя дурная кровь и голова, набитая песком. — Он подошёл, зевая. — Иди спать.

— Отец. Птицы молчат.

Тарук замер на середине зевка.

Он был старый, ленивый, сварливый и уже полгода как ходил, припадая на левую ногу. Но он был вождём тридцать один год — и Айша увидела, как за одно мгновение с его лица сползло всё стариковское, и осталось только волчье.

Он посмотрел на север. Долго. Не моргая.

— Разбуди Кемни, — сказал он тихо. — Пусть возьмёт четверых и идёт к колодцу. Тихо. Без факелов.

— Я поеду с ними.

— Ты разбудишь Кемни и вернёшься в шатёр.

— Отец...

— Айша. — Он повернул голову, и она увидела в его глазах то, чего не видела никогда за все свои двадцать лет. — Не сегодня.

Кемни не успел дойти до колодца.

Солнце ещё не поднялось над дюнами — только начало красить их гребни жидким красным, как разбавленная кровь, — когда с севера пришёл звук.

Ровный. Низкий. Он не приближался — он **нарастал**, будто кто-то медленно поворачивал огромный каменный жёрнов.

Копыта. Сотни копыт.

Айша стояла у изгороди с уздечкой в руках и смотрела, как из-за гребня дюны выходит войско Двух Земель.

Оно выходило неправильно. Не толпой, не лавиной, как ходят кочевые роды, когда сводят счёты. Оно выходило **ровно** — двумя длинными крыльями, и между ними, посередине, шли колесницы, и медные бляхи на упряжи горели в первом солнце так, что было больно смотреть.

Их было много. Она попробовала сосчитать, дошла до двухсот и бросила.

За её спиной кто-то закричал.

И стойбище проснулось.

Дальше всё случилось быстро — так быстро, что потом, много месяцев спустя, Айша могла вспомнить этот час только кусками, как разбитый кувшин: вот черепок, вот ещё черепок, а между ними пусто.

Вот отец, который выходит вперёд один, без оружия, подняв раскрытые ладони, и кричит в сторону колесниц, что род Тарука не поднимал руку на Две Земли, что дань уплачена в месяц Паопи, что здесь женщины и дети.

Вот человек на передней колеснице — в кожаном шлеме, с широким лицом, — который наклоняется к вознице и что-то говорит, не глядя на её отца. Скучно говорит. Как говорят «подай воды».

Вот стрела.

Айша не увидела, откуда она прилетела. Она увидела только, как отец вдруг сделал шаг назад — маленький, аккуратный, будто оступился на камне, — и посмотрел вниз, себе на грудь, с бесконечным, детским удивлением.

А потом сел.

А потом стойбище закричало уже всё, целиком.

Она не помнила, как оказалась в седле.

Помнила, что уздечки не было — та осталась лежать в песке у изгороди. Помнила горячий бок Сехмет под голыми коленями, помнила пальцы, вцепившиеся в гриву, и собственный голос, который орал что-то без слов.

Стойбище горело. Шатры вспыхивали один за другим — сухая шерсть, сухое дерево, — и чёрный дым валил вверх плотными, жирными столбами, и в этом дыму метались люди, овцы, собаки.

Она видела, как Кемни, у которого была всего одна кривая сабля и никакого щита, бросился на трёх копейщиков и продержался, наверное, три удара сердца.

Она видела, как старая Хебет, которая когда-то принимала её роды у матери, стоит на коленях над чьим-то телом и раскачивается, и не двигается с места, даже когда мимо неё проходит колесница.

Она видела, как двое солдат вытаскивают из горящего шатра девочку лет двенадцати — за волосы.

И вот тогда Айша перестала кричать.

Она развернула Сехмет и пошла на них.

У неё был нож. Короткий, бронзовый, с рукоятью, обмотанной кожаным ремешком, — тот самый, которым она резала верёвки, свежевала коз и однажды, в четырнадцать, полоснула по руке двоюродного брата, когда тот полез, куда не следовало.

Она свалилась на них сверху, с лошади, и первый даже не успел повернуться.

Нож вошёл ему сбоку в шею, между краем шлема и ключицей.

Это оказалось совсем не так, как она думала. Она думала — будет трудно. Будет сопротивление, кость, что-нибудь. Не было ничего. Клинок вошёл легко, как в мокрую глину, и рука сразу стала горячей до самого локтя, а человек не закричал — он **захрипел**, тонко и удивлённо, и схватился за неё, вцепился ей в плечо, и они вместе повалились в песок.

Он был тяжёлый. Он держал её, умирая, и смотрел ей прямо в лицо, и глаза у него были обыкновенные, карие, чуть косящие, и в них было столько недоумения, что Айшу вывернуло бы, если бы было чем.

Второй ударил её древком копья по спине.

Она отлетела, перекатилась, вскочила — и увидела девочку, которая, скуля, уползала на четвереньках к дюнам.

— Беги! — заорала Айша. — Беги, дура, не оглядывайся!

Она успела ещё разбить кому-то нос локтем и располосовать ножом чью-то ладонь.

А потом ей на плечи упала сеть.

Её волокли по песку, и она билась, и кусалась, и выла, и это продолжалось долго, потому что она была сильная — сильнее, чем они рассчитывали. Кто-то в конце концов сказал по-египетски, с ленивой злостью:

— Да успокой ты её уже.

И её ударили в висок чем-то тяжёлым.

Она пришла в себя от вкуса крови во рту и от того, что кто-то тянул её за волосы, поворачивая лицо к солнцу.

Она лежала на песке, руки были стянуты за спиной сыромятным ремнём. Рядом — ещё тела, живые, связанные так же: женщины, подростки, десяток мужчин. Их посадили в ряд, на колени, лицом к стойбищу.

Стойбища больше не было. Были чёрные пятна на песке и пять или шесть догорающих островов, и над всем этим стоял дым — уже не столбами, а низким рыжим маревом.

Над Айшей стоял человек. Не тот, что на колеснице, — другой. Немолодой, худой, с тонким лицом и умными глазами торговца. Он держал её за волосы и рассматривал её лицо так, как рассматривают ткань на просвет.

— Ну-ка, — сказал он и отёр большим пальцем кровь и копоть с её щеки.

Айша дёрнулась и попыталась откусить ему палец.

Он отдёрнул руку — быстро, но без злости. И вдруг рассмеялся.

— Хех. Смотри-ка.

— Что там, Пасер? — окликнули со стороны колесниц.

— А ты подойди, посмотри. — Худой намотал её волосы на кулак и потянул вверх, заставляя выпрямиться. Он перебрал прядь пальцами, разглядывая на свету, и прищёлкнул языком. — Медь. Настоящая медь, не хна. Я тридцать лет вожу товар и такое видел два раза.

Он повернул её голову вбок, к солнцу, и заглянул в глаза.

— И глаза зелёные. Зелёные, Хори!

Подошедший солдат сплюнул.

— Демонское отродье. Такие приносят засуху.

— Такие, — сказал худой мягко, — приносят двенадцать дебенов серебра. А если найдётся дурак с деньгами и без предрассудков — то и двадцать. — Он присел на корточки перед Айшей, и теперь их лица были на одном уровне. — Ты понимаешь, что я говорю, девочка?

Айша понимала. Мать научила её языку Двух Земель, потому что мать сама была наполовину из тех земель, и потому что «вождю нужна дочь, которая слышит, о чём говорят гости».

Она посмотрела ему в глаза и сказала — медленно, чтобы он разобрал каждое слово:

— Я тебя убью.

Худой моргнул.

Потом улыбнулся — почти ласково, почти с нежностью, как улыбаются щенку, который зарычал впервые в жизни.

— Двадцать пять, — сказал он в сторону. — Хори, я беру её. Двадцать пять дебенов, и я ещё не разбогател.

Он поднялся, отряхнул колени и добавил, уже не глядя на неё, деловито, обращаясь к тому, кто вязал пленных:

— Этой руки не развязывать. И зубы — берегите пальцы. Она кусается.

Их погнали на закат, когда солнце уже перевалило за середину неба.

Айша шла третьей в связке, и ремень на запястьях уже начал стирать кожу до мокрого. Впереди плелась беременная жена Кемни. Сзади — мальчишка лет пятнадцати, который всю дорогу беззвучно плакал и оттого спотыкался.

Она обернулась один раз.

Всего один — потому что знала: если обернуться дважды, ноги не пойдут.

Позади, на месте её дома, стояло чёрное пятно и тонкий, уже почти прозрачный столбик дыма, который ветер сносил на юг. Где-то там, в этом пятне, лежал её отец, вождь Тарук, который тридцать один год держал семь родов и который умер, сидя на песке, с раскрытыми пустыми ладонями.

Никто не насыпал над ним холм. Никто не положил ему в руки хлеб.

Я вернусь, — сказала Айша про себя. — Клянусь солнцем и всеми ветрами. Я вернусь и насыплю тебе холм. И приведу сюда за волосы того, кто отдал приказ.

Она не знала тогда, кто отдал приказ.

Идущий рядом надсмотрщик заметил, что она смотрит назад, и лениво стегнул её плетью по плечу.

— Не оглядывайся. Дурная примета.

Айша повернула к нему разбитое лицо.

— Как зовут вашего царя? — спросила она.

Надсмотрщик даже приостановился от неожиданности. Потом хохотнул и оглянулся на товарища:

— Слышал? Она спрашивает, как зовут владыку.

— Скажи ей. Пусть знает, кому будет ноги мыть.

Надсмотрщик наклонился к Айше, обдав её запахом лука и кислого пива, и произнёс с явным удовольствием, смакуя каждый слог, — так произносят имя божества или проклятие:

— **Хоремхет.** Владыка Двух Земель, Сын Солнца, Лев Юга. Запомнила? — Он выпрямился и снова стегнул её, теперь просто так, для порядка. — Топай.

Айша повторила про себя, беззвучно, одними губами.

Хоремхет.

Она сложила это имя, спрятала его глубоко внутрь и придавила сверху, как придавливают камнем уголь, чтобы не потух до утра.

И пошла дальше — на запад, в пыли, в связке, босиком по остывающему песку.

Ей оставалось девятнадцать дней до города из белого камня.

И двадцать четыре — до того, как она впервые увидит золотые глаза.

Пустыня умеет ждать. Она научила этому и её.

ГЛАВА 2. Дорога рабов

Айша

Я думала, что знаю пустыню.

Я родилась в ней. Я умела читать её по цвету неба на рассвете, умела находить воду по тому, куда с вечера тянутся мухи, умела спать в седле и не падать. Я считала её своей — как считаешь своим отца, пока он жив.

Мне понадобилось три дня в связке, чтобы понять: я не знала о ней ничего.

Пустыня для всадника и пустыня для того, кто идёт по ней босиком с руками за спиной, — это две разные пустыни. Первая — дом. Вторая — медленная, очень терпеливая тварь, которая никуда не спешит, потому что знает: рано или поздно ты сам ляжешь.

Нас было сорок два человека.

Я сосчитала на второй день, пока нас разводили к бурдюкам, — просто чтобы занять голову. Голову нельзя оставлять пустой, я поняла это сразу. Стоит ей опустеть, как в неё немедленно вползает отец, сидящий на песке с раскрытыми ладонями, и тогда ноги перестают идти.

Сорок два. Из них девятнадцать женщин, одиннадцать подростков, двенадцать мужчин.

На девятый день нас стало тридцать шесть.

Никто не считал вслух. Просто утром связка становилась короче, а ремень на запястьях перевязывали заново.

Пасер — тот худой, с умными глазами торговца, — оказался хозяином каравана. Не солдатом. Купцом, который шёл при войске, как чайка идёт за рыбацкой лодкой.

Я быстро научилась различать эти два сорта людей.

Солдаты били от скуки. Пасер не бил никогда — он **считал**. Каждое утро он проходил вдоль связки, заглядывал в лица, оттягивал кому-то веко, щупал кому-то щиколотку, и в глазах у него шевелились цифры. Он не был жесток. Он был хуже: он был бережлив.

Однажды на моих глазах надсмотрщик по имени Хори принялся охаживать плетью мужчину, который упал.

Пасер подошёл, посмотрел, как тот дёргается в пыли, и сказал ровно:

— Хватит. Ты портишь товар.

— Он не встаёт.

— Потому что ты сломал ему ногу, дурак. — Пасер потёр переносицу. — Три дебена. Ты выбросил три дебена, чтобы размять руку. Я вычту из твоей доли.

Хори перестал бить.

Мужчину подняли и потащили дальше. К вечеру он умер, но Пасер к тому времени уже потерял к нему интерес.

Вот тогда я и поняла: с этими людьми бесполезно говорить о жалости. У них её нет — не потому, что они злые, а потому, что её нет **в этом языке**. Здесь говорят на языке цены. Хочешь, чтобы тебя услышали, — научись торговаться.

Я запомнила.

Мне это потом пригодилось. Гораздо позже, во дворце, где вместо плетей — улыбки, а торгуются не за дебены, а за жизни.

Мне не связывали руки спереди ни разу за всю дорогу.

Всем связывали, а мне — нет. Пасер помнил.

— Ты стоишь двадцать пять дебенов, — сказал он мне на четвёртый день, присев рядом на корточки, когда караван встал на дневной привал в тени скалы. — Знаешь, сколько это?

Я молчала.

— Это дом. Хороший дом в Уасете, с двумя комнатами и садом. — Он говорил задумчиво, будто сам себе. — Ты — дом, девочка. Поэтому я и вожусь с тобой. Поэтому даю тебе воды столько же, сколько мужчинам, а не половину, как остальным. Не думай, что это доброта.

— Я и не думаю, — сказала я.

Он усмехнулся. У него была неприятная привычка усмехаться так, будто ему за тебя немножко неловко.

— Ты меня ненавидишь.

— Да.

— Это хорошо, — кивнул он. — Ненависть — как соль: сохраняет мясо. Те, кто смиряется,дохнут на дороге первыми, я это тридцать лет наблюдаю. — Он поднялся, отряхнул колени. — Ненавидь на здоровье. Только не сдохни.

Я плюнула ему под ноги.

Он посмотрел на плевков, потом на меня, и в глазах у него опять зашевелились цифры.

— Двадцать восемь, — сказал он и пошёл прочь.

Её звали Ния.

Ей было восемнадцать — на два года младше меня, но выглядела она младше своих лет: маленькая, хрупкая, с тонкими запястьями и детским округлым лицом. Её взяли не из моего рода — где-то раньше, в оазисе на востоке, и в связке она шла четвёртой, сразу за мной.

Первые три дня она не разговаривала. Вообще. Просто шла, глядя в затылок идущему впереди, и её маленькое лицо было таким пустым, что становилось страшно.

На четвёртый день она сказала мне в спину:

— У тебя волосы как огонь.

Я чуть не споткнулась. Голос у неё был высокий и очень спокойный, как у взрослой.

— Тебе нельзя со мной разговаривать, — сказала я.

— Я знаю.

И замолчала. А через сотню шагов добавила:

— Мама говорила, что рыжие — это те, кого солнце поцеловало в темя. Она была из северных.

— Была?

— Была, — сказала Ния тем же ровным голосом, и больше мы к этому не возвращались.

Так у меня появилась Ния.

Я не хотела её. Клянусь всеми ветрами — я не хотела, чтобы у меня в этой дороге появилось что-то, что можно потерять. Я как раз училась быть камнем. Камни доходят до конца.

Но она шла за мной девятнадцать дней подряд, дышала мне в спину, и на седьмой день, когда меня шатнуло от солнца, я почувствовала, как её маленькое плечо упёрлось мне между лопаток и держало, пока в глазах не перестало плыть.

Восемнадцать лет. Ростом мне по грудь.

Держала.

Беда случилась на одиннадцатый день, у колодца Двух Пальм.

Колодец был плохой — солоноватый, — но других на этом отрезке не было, и караван встал на полдня. Нас развязали по четверо и погнали к воде очередями.

Ния оказалась в моей четвёрке.

И там же оказался Хори.

Он весь день ходил злой — Пасер при всех вычел у него из доли за того мужчину со сломанной ногой, и с тех пор Хори искал, на ком отыграться. Я видела, как он высматривает. Я знала этот взгляд, у нас в стойбище так же смотрел один пастух перед тем, как забить овцу не по надобности, а просто потому, что руки чесались.

Он выбрал Нию.

Просто потому, что она была самая маленькая и не могла ответить.

Он взял её за подбородок мокрой рукой, поднял ей лицо и сказал что-то — я не расслышала что, но слышала, **как**. Есть вещи, которые понятны на любом языке, даже если ты не разобрала ни слова.

И Ния — Ния, которая одиннадцать дней шла молча, как деревянная кукла, — вдруг задрожала. Вся, целиком, от макушки до пяток. Я увидела это со спины, увидела, как ходят её острые лопатки под рваной рубахой.

Дальше я ничего не решала.

Пусть это скажут все, кто потом будет меня судить: **я ничего не решала**. Тело решило само.

Я вылила ему на голову ведро.

Не бросила, не ударила — просто подняла деревянное ведро с солоноватой водой и опрокинула Хори на затылок, аккуратно, до последней капли.

Стало очень тихо.

Хори медленно повернулся. Вода текла у него по лицу, по бороде, капала с носа. Он моргнул.

— Она грязная, — сказала я громко и внятно, на его языке. — Ты же не хочешь трогать грязную. Я тебя вымыла. Не благодари.

Кто-то из пленных издал странный звук — не то всхлип, не то смешок.

А потом Хори меня ударил.

Он бил меня плетью двенадцать раз. Я знаю точно, потому что считала.

Я не собиралась считать. Оно само пошло: один, два, три — как считают шаги, как считают овец, чтобы не думать. Я стояла на коленях у колодца, упираясь связанными руками в песок, и загоняла в себя каждый удар вместе с цифрой, и почему-то было важно не сбиться.

На шестом я поняла, что не закричу.

Не потому что героиня. Просто у меня внутри как будто закрылась дверь — тяжёлая, каменная, — и всё, что происходило с телом, осталось по ту сторону. Я где-то читала потом, много лет спустя, что так бывает. Тогда я решила, что схожу с ума.

На девятом Ния закричала за меня.

На двенадцатом плеть остановили.

Я подняла голову — медленно, потому что шея не слушалась, — и увидела перед собой сандалии Пасера.

— Достаточно, — сказал он ровно.

— Она вылила на меня...

— Я видел, на что она тебя вылила, я не слепой. — Пасер даже не повысил голоса. — Ты только что взял плеть и двенадцать раз ударил по моим двадцати восьми ребрам. Знаешь, во что мне обойдётся рубец на этой спине? Она пойдёт на рынок с исполосованной шкурой. — Он присел, взял меня за подбородок и повернул лицо к свету, проверяя, цела ли кожа на скулах. Пальцы у него были сухие и прохладные. — Хорошо хоть в лицо не бил. Хоть на это ума хватило.

— Пасер...

— Ещё раз тронешь эту — пойдёшь домой пешком и без доли. — Он отпустил мой подбородок. — А ты, — это уже мне, и вот тут в его голосе впервые появилось что-то живое, что-то вроде досады, — ты, дура, зачем? Тебе-то она кто?

Я разлепила губы. Во рту было солоно.

— Никто, — сказала я.

— Вот именно. — Он выпрямился. — Никто. Запомни это слово. В том городе, куда мы идём, у тебя вообще не будет никого. Чем раньше ты это усвоишь, тем дольше проживёшь.

Он ушёл.

А Ния подползла ко мне на коленях, насколько позволяла связка, и молча, сосредоточенно, начала обмахивать мою спину куском своей рубахи — чтобы не садились мухи.

Мы обе не сказали ни слова.

Но с того дня мы стали друг для друга **кем-то**. И, наверное, именно там, у колодца Двух Пальм, я подписала себе всё, что случилось потом.

По ночам солдаты говорили о войне и о владыке.

Я слушала. Слушать — это единственное, что мне оставалось, и я делала это жадно, как пьют.

Они называли его по-разному.

Одни — «Сын Солнца», торжественно, как положено. Другие — «Лев Юга». А один старый копейщик, у которого не было двух пальцев на левой руке, называл его просто **Он**, и всегда понижал при этом голос.

Из обрывков, из хвастовства у костра, из ленивой болтовни на привалах я собирала его по кускам, как собирают разбитый кувшин.

Что он взойшёл на трон в девятнадцать.

Что за тринадцать лет не проиграл ни одного сражения — ни одного, ни разу.

Что он ходит в бой сам, в первой колеснице, и что это неслыханно для владыки, и жрецы каждый раз воют, а он всё равно ходит.

Что он казнил своего собственного номарха в Абду — при всех, на площади, — за то, что тот брал двойную подать с деревень в голодный год. И что деревням потом вернули зерно из царских хранилищ. «Он справедливый, — сказал старый копейщик, глядя в огонь. — Он страшный, но справедливый. Это редко вместе бывает».

Что тело у него исписано шрамами, как стена храма — знаками.

И что у него глаза цвета золота.

— Врёшь, — сказал молодой солдат.

— Я его видел под Кадешем, с двадцати шагов, — ответил старик. — Как тебя сейчас. Золотые. Не карие, не жёлтые, как у кошки, — **золотые**. Как разлитый металл.

— Так это ж знак Ра.

— Или проклятие, — сказал старик и сплюнул в костёр. — Жрецы до сих пор спорят. А я тебе так скажу, парень: когда такие глаза смотрят на тебя через поле, ты о жрецах не думаешь. Ты думаешь, где яма поглубже.

Я лежала на песке, на боку, потому что на спину лечь не могла, и смотрела в звёзды.

Хоремхет.

Я держала это имя во рту, перекачивала его, как камешек, которым сбивают жажду.

Я не знала тогда, что ненавидеть человека, которого никогда не видел, — это очень удобно. Ненависть к тому, у кого нет лица, ровная и гладкая, как речная галька. Не за что зацепиться, не обо что порезаться.

Всё портится потом. Когда лицо появляется.

На восемнадцатый день, к вечеру, воздух вдруг стал другим.

Я почувствовала это раньше, чем увидела: он стал **влажным**. Восемнадцать дней сухости, от которой трескаются губы и слипаются ноздри, — и вдруг в лицо потянуло сыростью, тиной, чем-то живым и гниющим одновременно.

Река.

Мы поднялись на последнюю гряду, и я увидела её.

Я не готова была к тому, сколько её. У нас говорили: «большая вода», и я представляла себе широкое вади после дождей. Это было не вади. Это была равнина воды, серо-синяя, ленивая, уходящая на север до самого края зрения, и по ней шли лодки с косыми парусами — десятки лодок, — и на другом берегу зелень стояла такой полосой, что глазам было больно.

А за зеленью, вдалеке, в закатном свете, — город.

Он был белый.

Я никогда не видела столько белого камня сразу. Стены, стены, ещё стены, и над ними — острые, как копья, обелиски, и они горели красным в заходящем солнце, будто их только что вынули из огня.

Он был **огромный**. Он был больше, чем всё, что я до этого считала большим. Рядом с ним моё стойбище, мои двадцать восемь шатров, весь мой мир, вся моя жизнь — превращались в горстку сора, которую сдует одним чихом.

И я вдруг с ужасающей ясностью поняла, что мне никогда, никогда отсюда не вернуться домой.

Пешком — не дойти. Верхов — не дадут. Одной — сожрёт пустыня. С кем-то — не с кем.

Я стояла на гряде со связанными за спиной руками, смотрела на белый город и чувствовала, как во мне что-то тихо ломается — вот прямо сейчас, вот в это самое мгновение.

— Красиво, — сказала Ния у меня за плечом. Голос у неё дрожал.

— Нет, — сказала я.

— Красиво же.

— Ния. — Я повернула к ней голову. — Запомни: всё, что там красивое, — построено такими, как мы. Каждый белый камень. Каждый.

Она долго молчала. Потом спросила:

— А что мы будем делать?

Вот тут надо было сказать правду. Правда была простая: ничего. Ничего мы не будем делать, потому что нас девятнадцать дней вели связанными, и завтра нас поставят на помост, и продадут, и разведут в разные стороны, и я больше никогда её не увижу.

Я посмотрела на белые стены.

И сказала:

— Мы будем жить. Назло им всем. Ты поняла меня? Мы будем жить долго и очень им мешать.

Ния прижалась лбом к моей руке.

— Хорошо, — сказала она.

В ту ночь мы стояли лагерем у самой воды, и я впервые за восемнадцать дней напилась досыта.

Пасер обходил связку с масляной лампой, проверяя товар перед рынком. Возле меня он остановился, поднял лампу выше и долго смотрел мне в лицо. Потом сказал — почти мягко, почти по-человечески:

— Завтра тебя купят. Хочешь совет?

Я молчала.

— Молчи, — сказал он. — Просто молчи, что бы тебе ни говорили. Опusti глаза и молчи. С такими волосами и таким лицом тебя возьмут в хороший дом, будешь носить бельё и есть каждый день. Одно слово поперёк — и пойдёшь на каменоломню. Оттуда не выходят.

Он подождал.

— Скажешь что-нибудь?

Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза.

— Ты потерял дебен, — сказала я. — На спине у меня будет рубец.

Пасер помолчал. А потом засмеялся — тихо, беззвучно, тряся головой.

— Ох, девочка, — сказал он, отходя. — Не завидую я тому, кто тебя купит.

Он и не подозревал, насколько был прав.

В ту ночь я в последний раз заснула, не зная его лица. И, клянусь, я до сих пор не могу решить — стоило ли мне тогда открыть глаза.

ГЛАВА 3. Город из белого камня

Нас мыли в реке на рассвете.

Не из милосердия — я уже понимала разницу. Мыли, как моют горшки перед тем, как выставить на прилавок. Пасер стоял на берегу в чистом льне, с папирусным свитком под мышкой, и командовал:

— Волосы! Волосы промывайте, а не так! У этой — маслом. Слышишь? Маслом, у меня в жёлтом кувшине.

Меня терли жёсткой мочалкой из пальмового волокна, и когда дошли до спины, я зашипела сквозь зубы.

— Осторожнее с рубцами, — крикнул Пасер, не оборачиваясь. — Присыпь охрой, будет меньше видно.

Вот так. Девятнадцать дней он вёл меня по пустыне, чтобы теперь замазать охрой то, что оставила его же плетью.

Мне расчесали волосы — впервые за три недели. Это оказалось больнее плети. Женщина-рабыня, которая этим занималась, драла гребнем колтуны молча, а когда закончила, вдруг наклонилась к моему уху и шепнула:

— Не поднимай глаз. И не улыбайся. Улыбнёшься — решат, что покорная, возьмут в дом, где бьют.

— А если не улыбаться?

— Тогда решат, что дикая, и возьмут туда, где бьют сильнее. — Она пожала плечами. — Тут нет хорошего выбора, рыжая. Просто держись, пока держится.

Она была первым человеком в этом городе, который сказал мне правду. И я даже не спросила её имени.

На меня надели платье.

Тонкое, льняное, почти белое — такое, сквозь которое всё видно, если встать против света. Меня специально повернули против света и посмотрели.

Я стояла и считала про себя. Один. Два. Три. Как под плетью. Оказалось, помогает не только от боли.

— Вот теперь — да, — сказал Пасер удовлетворённо. — Теперь тридцать пять.

Город обрушился на меня, как обвал.

Я думала, я готова. Я видела его с гряды, я знала, что он большой. Я не знала, что он шумит.

Мы вошли через восточные ворота, и на меня разом упало всё: крик водоносов, рёв ослов, вонь рыбы и ладана, стук молотков из кожевенного ряда, вопль ребёнка, лай, скрип телег, чей-то смех, чей-то плач, и поверх всего — низкий, бесконечный гул тысяч голосов, как гудит улей, если приложить к нему ухо.

У нас в стойбище больше сорока человек в одном месте я видела только на свадьбах.

Здесь их были тысячи. Десятки тысяч.

Они шли мимо нас по своим делам — и не смотрели. Вот что меня добило: они **не смотрели**. Сорок два связанных человека шли по улице, и никому не было дела. Женщина с корзиной фиников посторонилась, чтобы мы прошли, и вернулась к своему разговору. Мальчишка попытался ущипнуть Нию за ногу, но его окликнула мать, и он побежал дальше.

Мы были не событием. Мы были повседневностью. Как ослы. Как телеги.

Вот тогда я поняла по-настоящему, что со мной случилось.

Не когда сожгли стойбище. Не когда связали руки. А вот здесь — когда двадцать тысяч человек прошли мимо и никто не повернул головы.

Рынок рабов был на площади у пристани, в тени длинной галереи с колоннами.

Помост. Каменный, вытертый до блеска тысячами босых ног. Три ступени. Навес от солнца — не для нас, для покупателей.

Покупатели сидели полукругом на скамьях и циновках. Управляющие больших домов — с писцами за плечом. Надсмотрщики каменоломен — эти стояли отдельно, с краю, и Пасер, кивнув на них, сказал негромко своему помощнику: «Туда — только брак и стариков».

И храмовые. Бритоголовые, в белом, с леопардовыми шкурами через плечо. Эти не торговались вслух — просто поднимали палец, и писец записывал.

Торг начался с мужчин.

Я стояла у нижней ступени, в загоне, и смотрела, как их продают.

Это, оказывается, недолго. Человек поднимается на три ступени. Его поворачивают. Ему открывают рот и смотрят зубы. Ему щупают плечо и бедро. Кто-то называет цифру. Кто-то называет другую. Писец скребёт тростинкой по папирусу.

И всё. Двенадцать вдохов — и у человека новая жизнь.

Кемни-младшего, племянника того Кемни, что умер у горящего шатра, купили в каменоломню за девять дебенов. Он посмотрел на меня сверху, с помоста, и я кивнула ему. Он не кивнул в ответ. Он уже был не здесь.

Беременную жену Кемни купили в дом пивовара за шесть — со скидкой, потому что «брюхатая, полгода толку не будет».

— Дура, — сказал Пасер вполголоса. — Я говорил ей молчать про срок.

Потеряла себе четыре дебена.

Я поняла, что он говорит это мне. В третий раз за утро.

Нию продали пятнадцатой.

Я знала, что это случится. Я всю дорогу знала. Я даже придумала себе, как это будет: её уведут, я отвернусь, и всё, и надо будет дальше жить.

Ничего у меня не вышло.

Когда её подняли на помост — маленькую, с торчащими ключицами, в чистой рубахе не по росту, — я вцепилась пальцами в жердь загона так, что потом три дня не разгибались.

— Восемнадцать лет, — объявил помощник Пасера. — Здоровая, зубы целые, руки ловкие. Ткать умеет.

Она не умела ткать. Она мне говорила.

— Три дебена, — сказал кто-то.

— Четыре, — сказал управляющий в полосатом.

И тут Ния сделала то, чего я не ожидала.

Она нашла меня глазами в толпе — сразу, безошибочно, будто знала, где я стою, — и **улыбнулась мне**.

Улыбнулась. Восемнадцать лет, помост, четыре дебена — и она улыбнулась мне, чтобы я не боялась.

Я тогда не заплакала. Я вообще в тот год мало плакала, всё как-то пересохло внутри. Но что-то у меня в груди в этот момент сжалось и потом уже не разжалось никогда — даже спустя годы, даже когда всё кончилось хорошо.

— Пять, — сказал женский голос.

Её купила женщина. Полная, немолодая, в парике из настоящих волос, с обвисшим подбородком, — управляющая царским хозяйством, как я потом узнала. Она купила Нию на кухни Великого Дома.

Ния спустилась с помоста и, проходя мимо загона, успела коснуться пальцами моей руки на жерди.

— Мы будем жить, — сказала она быстро. — Долго. И мешать.

И её увели.

Я стояла и повторяла про себя это её «мешать», как молитву, потому что если бы я перестала повторять, то начала бы выть.

Я не знала — и никто не знал, — что боги в тот день пошутили. Они поставили нас в один и тот же дом. Просто не сказали об этом ни ей, ни мне.

Меня подняли последней.

Пасер придержал меня за локоть у ступеней и сказал тихо, в самое ухо:

— Голову подними. Волосы на свет. Ты сейчас или заработаешь мне дом, или пойдёшь дробить камень. Не порти мне день.

Я поднялась по трём ступеням.

Помост был горячий. Солнце уже стояло высоко, и от белого камня било жаром в лицо. Меня повернули за плечи — лицом к скамьям.

И я услышала, как площадь замолчала.

Не вся. Но передние ряды — те, кто сидел под навесом, — вдруг перестали разговаривать. Кто-то встал. Кто-то подался вперёд, упершись ладонями в колени.

Помощник Пасера снял с моей головы платок.

Волосы упали мне на плечи и спину — вымытые, промасленные, на полном солнце.

По площади прошёл звук. Такой низкий, слитный «а-ах», как будто выдохнули разом двести человек.

— Двадцать лет, — начал помощник, и голос у него зазвенел от удовольствия. — Кочевница, из рода Тарука. Здорова. Не рожала. Говорит на языке Двух Земель — говорит чисто, я не вру, сейчас проверите. Волосы — **не хна**. Клянусь Тотом, кто хочет, пусть подойдёт и потрёт мокрым пальцем.

Один подошёл. Управляющий из богатого дома, надушенный, с золотым кольцом. Он поднялся на ступеньку, послунывил палец и потёр мне прядь у виска.

Посмотрел на палец.

— Не хна, — сказал он громко.

И вот тогда началось.

— Двадцать!

— Двадцать пять!

— Тридцать!

Я стояла и слушала, как обо мне торгуются, и странная вещь: мне не было стыдно. Я ждала, что будет стыдно, — а было **холодно**. Я вдруг увидела всё это со стороны, сверху, как коршун видит: белую площадь, полукруг жирных, потных, кричащих людей, себя на камне.

Тридцать пять. Сорок.

— Пятьдесят, — сказал бритоголовый жрец с леопардовой шкурой, и цифры оборвались.

Он поднялся со скамьи. Немолодой, худой, с длинными сухими пальцами и глазами без ресниц.

— Дом Амона берёт её, — сказал он. — Пятьдесят дебенов.

Пасер поклонился так низко, что чуть не сложился пополам.

— Мудрость святейшего...

— Не для служения, — перебил жрец, и по площади прошёл шепоток. — Такие волосы — знак Сета. Красный цвет — цвет пустыни, цвет того, кто убил своего брата. — Он смотрел на меня без всякой злости, спокойно, как смотрят на дрова. — Мы очистим её от этого. И принесём в жертву на празднике разлива, дабы отвратить засуху.

Тишина.

Я поняла не сразу. Я хорошо говорила на их языке, но некоторые слова доходят до тебя с опозданием, будто идут через толщу воды.

Принесём в жертву.

Пасер медленно выпрямился. Я увидела, как у него дёрнулась щека.

— Святейший... она стоит больше...

— Пятьдесят пять, — сказал жрец.

— Шестьдесят, — сказал кто-то от края площади.

Все обернулись.

Он не сидел под навесом. Он стоял у крайней колонны, привалившись к ней плечом, — я даже не заметила, когда он подошёл.

Здоровенный. Плечи как у быка, а лицо перебитое: нос сломан минимум дважды, через левую скулу — старый шрам. Одет просто, без золота, но льняное платье было такое белое, какого я на рынке не видела ни на ком. И по левую руку от него стояли двое молчаливых мужчин, у которых не было ничего в руках, но которые стояли **так**, что вокруг них само собой образовалось пустое место.

Жрец повернул к нему голову без ресниц.

— Дом Амона предложил цену.

— Я слышал, — сказал перебитый. Голос у него был ленивый и хриплый. — Шестьдесят.

— Ты знаешь, кому перечишь?

— Знаю. — Он оттолкнулся плечом от колонны и не спеша пошёл к помосту. Толпа расступалась перед ним, как вода. — Ты — Небкаура, третий пророк Амона. Ты берёшь на храмовые нужды по двенадцати дебенов, а в книгах пишешь двадцать. Уже четвёртый год.

Стало очень тихо.

— Это ложь, — сказал жрец.

— Разумеется, — согласился перебитый и остановился у нижней ступени. — Семьдесят.

Жрец молчал. У него на виске билась синяя жилка.

— Восемьдесят, — сказал он наконец.

— Сто, — сказал перебитый мгновенно, даже не задумавшись, и я увидела, как Пасер прислонился к столбу помоста, потому что у него, кажется, отнялись ноги.

Сто дебенов. Четыре дома с садом.

За меня.

Жрец Небкаура очень медленно опустил на скамью.

— Ты пожалеешь, — сказал он тихо. — Ты вносишь красное в Великий Дом. Это дурная кровь, воин. Она принесёт пожар.

— Она уже принесла мне убыток в сто дебенов, — сказал перебитый. — Хуже не будет.

И поднялся на помост.

Он встал передо мной — на голову выше, и от него пахло кожей, лошадьё и почему-то дымом.

Я приготовилась. Сейчас он будет смотреть зубы, щупать плечо и бедро, как смотрели всех до меня.

Он не стал.

Он посмотрел мне в лицо — прямо, спокойно, как смотрят на человека, — и спросил:

— Как тебя зовут?

Я растерялась. У меня за три недели ни разу не спросили имени. Ни разу.

— Айша, — сказала я.

— Айша, — повторил он, будто пробуя на вес. — Ты понимаешь, что сейчас произошло?

— Ты купил меня.

— Я перебил цену у храма Амона, — сказал он. — Это разные вещи. Первое — сделка. Второе — я только что нажил себе врага на всю оставшуюся жизнь, и не тебя ради. — Он усмехнулся кривовато. — Хотя и тебя тоже. Не люблю, когда режут девок, чтобы вода в реке поднялась. Она всё равно поднимется, ей на нас плевать.

Я молчала.

— Меня зовут Небамон, — сказал он. — Я начальник стражи Великого Дома. Ты пойдёшь во дворец.

Великий Дом. Я слышала это слово в караване. Так называли не здание. Так называли **его**. Сердце у меня стукнуло раз — и пошло очень быстро.

— Во дворец владыки, — сказала я, и голос у меня не дрогнул. Я до сих пор этим горжусь.

— Во дворец владыки, — подтвердил Небамон.

Я подняла голову и посмотрела на него.

— Кем?

Он приподнял бровь.

— Что?

— Кем я туда пойду, — сказала я. — Я хочу знать сразу.

Двести человек внизу услышали, как рабыня на помосте задаёт вопросы тому, кто заплатил за неё сто дебен. По площади прокатился нехороший смешок.

Небамон посмотрел на меня очень внимательно. Долго. И я вдруг увидела, что он не тупой солдат, каким кажется, — что у него в глазах шевелится что-то быстрое и цепкое, вроде того, что было у Пасера, только это были не цифры.

— А ты чего боишься? — спросил он.

— Я не боюсь.

— Врёшь. — Он сказал это без всякой злобы, почти одобрительно. — Все боятся. Врут только те, кто соображает.

Он повернулся к помощнику Пасера.

— На кухни, — сказал он. — В прачечную или на кухни, куда там место есть. Не в гарем. Помощник разинул рот.

— Господин... за сто дебен — на кухню?

— На кухню, — повторил Небамон.

И, уже спускаясь, добавил мне через плечо — негромко, так, что слышала только я:

— Радуйся, рыжая. И запомни: я тебя туда сунул нарочно. В нашем доме чем ближе к владыке — тем короче живут.

Меня вели через город со связанными спереди руками — теперь спереди, я это отметила, — и я смотрела на белые стены, которые росли перед нами и заслоняли небо.

Внутри у меня было пусто и звонко.

Утром я думала, что меня продадут в дом торговца и я буду носить бельё. К полудню меня чуть не зарезали в честь разлива реки. К вечеру я входила в дом человека, чьё имя три недели носила под языком, как камешек от жажды.

Хоремхет.

Ворота были высотой в шесть человек. Створки — из кедра, окованные медью, и на них были вырезаны сцены битв: колесница, лошади с задранными мордами, и под колёсами — люди. Много людей. Художник постарался: у каждого было своё лицо.

Я шла и смотрела на эти лица под колёсами.

Отец, — подумала я. — Я насыплю тебе холм. Клянусь.

Я не знаю пока как. Но я уже внутри.

Ворота закрылись за моей спиной с очень мягким, очень солидным звуком.

Так закрывается крышка ларца.

Мне было двадцать лет.

Меня купили за сто дебен и отправили чистить рыбу.

Через четыре дня я плесну ему в лицо кувшин воды и назову его псом. Но об этом — дальше.

ГЛАВА 4. Лев

Внутри дворец был ещё белее, чем снаружи.

Я шла по коридору за Небамоном и двумя его молчаливыми стражниками, и меня било по глазам: белый камень стен, белый потолок, белый пол под босыми ногами — отполированный так, что видно было отражение. Между колоннами висели льняные занавеси, и они шевелились от какого-то невидимого сквозняка, и всё это двигалось, дышало, плыло перед глазами.

От пустыни здесь не осталось ничего. Даже воздух был другой — прохладный, пахнувший водой, лотосом и ещё чем-то сладким, что я не могла опознать.

— Не отставай, — бросил через плечо Небамон.

Я не отставала. Я просто пыталась всё запомнить.

Коридор свернул налево. Потом направо. Потом вниз по лестнице — широкой, пологой, ступени которой были вытерты миллионом ног. Я считала повороты. Один, два, три. Если придётся бежать, мне понадобится карта. Пока что карта у меня в голове была размером с платок.

Мы вышли в длинную галерею с открытой стеной — той, что смотрела во внутренний двор. Оттуда лился свет, пахло сырой землёй и зеленью, и доносились голоса — женские, высокие, смеющиеся.

— Гарем, — сказал Небамон, заметив мой взгляд. — Ты туда не пойдёшь. Запомни: если тебя кто спросит, кто тебя купил, — скажи, что хозяйственная служба. Не говори моё имя. Поняла?

— Поняла.

— Повтори.

— Хозяйственная служба, — сказала я послушно. — Не называть твоё имя.

Он кивнул и пошёл дальше.

Я не спросила «почему». Я уже понимала: люди, которые говорят «не называй моё имя», обычно знают, что делают.

Кухни были в самом низу дворца — там, куда дневной свет почти не доходил.

Огромное помещение с низкими сводчатыми потолками, закопчёнными от очагов. Очагов было шесть — все горели, хотя солнце ещё стояло высоко. Вдоль стен — столы, лавки, полки с горшками, связки лука и чеснока под потолком. Пахло дымом, жареным мясом, рыбой и кислым тестом.

Здесь работали человек двадцать — все в коротких льняных передниках, потные, быстрые. Никто не обернулся на наш приход. Слишком заняты.

Небамон прошёл к дальнему углу, где у очага стояла женщина.

Старая — лет пятидесяти, не меньше, с провисшими щеками и сильными руками. Она мешала что-то в огромном медном котле, и когда мы подошли, даже не подняла головы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.